



Джоанн Харрис

—

**Пять четвертинок
апельсина**



Москва
2022

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44
Х21

Joanne Harris
FIVE QUARTERS OF THE ORANGE
Copyright © Frogspawn Limited 2001

Перевод с английского *И. Тогоевой*

Оформление серии *С. Костецкого*
Иллюстрация на обложке:
archetype / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com

Харрис, Джоанн.

Х21 Пять четвертинок апельсина / Джоанн Харрис ; [перевод с английского И. Тогоевой]. — Москва : Эксмо, 2022. — 416 с. — (Яркие страницы).

ISBN 978-5-04-157213-6

От матери в наследство Фрамбуаза получила альбом с кулинарными рецептами — негусто, если учесть, что ее брату Кассису досталась ферма, а старшей сестре Рен-Клод — винный погреб со всем содержимым. Но весь фокус в том, что на полях альбома, рядом с рецептами разных блюд и травяных снадобий, мать записывала свои мысли и признания относительно некоторых событий ее жизни — словом, вела своеобразный дневник. И в этом дневнике Фрамбуаза пытается найти ответы на мрачные загадки прошлого.

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-04-157213-6

© И. Тогоева, перевод на русский язык, 2022
© Издание на русском языке, оформление.
«Издательство «Эксмо», 2022

*Жоржу Пайену,
моему любимому дедуле
(aka P'tit Père),
который все это видел
собственными глазами*

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

От всего сердца благодарю тех, кто с оружием в руках защищал эту книгу:

Кевина и Анушку, прикрывавших меня артиллерийским огнем;

моих родителей и брата, постоянно меня поддерживавших и подкармливавших;

а также Серафину, Принцессу-воительницу, которая вышла на мою защиту с фланга, и Дженнифер Луитлен, отвечавшую за обеспечение внешних связей.

Не менее благодарна я и Говарду Морхайму, победившему пришельцев с Севера, и моему верному издателю Франческе Ливерсидж, а также Джо Голдсуорси, который вывел на поле боя тяжелую артиллерию издательства «Трансуорлд», и моему верному знаменосцу Луизе Пейдж;

ну и, разумеется, Кристоферу за то, что всегда был рядом.

Часть первая

НАСЛЕДСТВО

1

После смерти матери нам досталось наследство: мой брат Кассис получил ферму; моя сестра Рен-Клод — роскошный винный погреб; а я, младшая, — материнский альбом и двухлитровую банку с заключенным в нее черным трюфелем (из Перигё) размером с теннисный мяч, одиноко плававшим в подсолнечном масле; стоило приоткрыть крышку банки, и сразу чувствовался густой аромат влажной земли и лесного перегноя. На мой взгляд, несколько неравноценное распределение богатств, однако в те времена мать была подобна силам природы и раздавала свои дары исключительно в зависимости от собственных прихотей и душевных порывов; во всяком случае, предвидеть или понять, на чем основана странная логика того или иного ее поступка, было совершенно невозможно.

Впрочем, Кассис всегда утверждал, что именно я — ее любимица.

Ну, допустим, пока мать была жива, я этого что-то не замечала. У нее вечно не хватало времени и сил быть к нам

хотя бы просто снисходительной, даже если б она и обладала склонностью проявлять к кому-то снисходительность. Но подобной склонности у нее не было и в помине, особенно если учесть, что после гибели мужа она одна тянула на себе все хозяйство, а мы со своими шумными играми, драками и ссорами ей скорее просто мешали; во всяком случае, утешением в тяжелой вдовой доле мы ей точно не служили. Если мы заболели, она, конечно, за нами ухаживала — заботливо, но как-то неохотно, словно подсчитывая, во что ей обойдется наше выздоровление. И даже нежность к нам она проявляла самым примитивным образом: могла, например, позволить вылизать кастрюльку из-под чего-нибудь вкусного или соскрести с противня пригоревшие остатки самодельной пастилы, а то вдруг с неловкой улыбкой возьмет да сунет тебе горсть земляники, собранной в носовой платочек в зарослях за огородом. Поскольку Кассис остался единственным мужчиной в семье, мать обращалась с ним еще суровее, чем со мной и Ренетт. Сестра была очень хорошенькой, на нее с ранних лет оборачивались на улице мужчины, и мать, будучи весьма тщеславной, втайне гордилась тем, что ее старшая дочь пользуется таким вниманием. Ну а меня, младшую, она, по всей видимости, считала просто лишним ртом, ведь я не была ни сыном, который впоследствии поведет хозяйство и, возможно, расширит ферму, ни такой красоткой, как Ренетт.

От меня всегда были одни неприятности; я вечно шла с ротой не в ногу, вечно спорила и дерзила, а после гибели отца и вовсе отбилась от рук, стала угрюмой. Я была тощая, с такими же темными, как у матери, волосами, такими же длинными некрасивыми руками и широченным ртом; я даже плоскостопием страдала, как она. Должно быть, я здорово на нее походила — стоило ей взглянуть на меня, она каждый раз сурово поджимала губы, а на ее лице появ-

лялось выражение стоической покорности судьбе. Словно оценив все мои достоинства и понимая, что именно мне, а не Кассису и не Рен-Клод суждено увековечить память о ней, она все-таки явно предпочла бы для этой памяти более пристойный сосуд.

Возможно, поэтому именно мне мать оставила свой альбом, не имевший никакой ценности, если не считать мыслей и озарений, которые маленькими буквами были рассыпаны на полях рядом с кулинарными рецептами — ее собственными и вырезанными из газет и журналов — и составами целебных травяных отваров. Это и дневником-то назвать нельзя, там нет почти никаких дат и никакого порядка в записях. Дополнительные страницы вставлены как попало, а те, что выпали, попросту вшиты мелкими стежками; некоторые странички из папиросной бумаги, тонкой, как луковая шелуха, другие же, наоборот, чуть ли не из картона, старательно вырезанного ножницами по размеру потрепанного кожаного переплета. Всякое заметное событие своей жизни мать отмечала либо очередным кулинарным рецептом собственного изобретения, либо новым вариантом тех блюд, которые издавна известны и любимы всеми. Кулинария была ее тоской по прошлому, ее торжеством, насущной потребностью, а также единственным выходом для творческой энергии. Первая страница в альбоме посвящена гибели моего отца и носит отпечаток какого-то жутковатого юмора: под его весьма нечетким снимком намертво приклеена лента Почетного легиона, а рядом аккуратно, мелким почерком записан рецепт блинчиков из гречневой муки. Ниже красным карандашом выведено: «Не забыть: выкопать иерусалимские артишоки. Ха! Ха! Ха!»

Кое-где мать более словоохотлива, но и там множество сокращений и таинственных упоминаний. Одни события для меня узнаваемы, другие слишком зашифрованы, тре-

тьи явно искажены под влиянием момента. Иногда у нее и вовсе все выдуманно, по крайней мере, кажется ложью или чем-то уж слишком невероятным. Во многих местах попадаются кусочки текста, написанного мельчайшим почерком на языке, которого я не в состоянии понять: «Ini tñawini inoti plainexini. Ini canini inton inraebi inti yñani egompi»¹. А порой это просто слово, нацарапанное будто случайно вверху страницы или где-нибудь на полях. Например, слово «качели», старательно выведенное синими чернилами, или оранжевым карандашом: «грушанка, бездельник, пустышка». А еще на одной странице я обнаружила что-то вроде стихотворения, хотя ни разу не видела, чтобы мать открыла хоть какую-нибудь книгу, кроме книги кулинарных рецептов.

Ах, эта сладость,
 Во мне скопившаяся!
 Она подобна соку яркого плода,
 Созревшей сливы, персика или абрикоса.
 Возможно, дыни.
 Во мне ее так много,
 Этой сладости...

Данное проявление ее натуры удивило и встревожило меня. Значит, моя мать, эта твердокаменная женщина, казалось бы, совершенно чуждая всякой поэзии, в тайниках своей души порой рождала подобные мысли? Она с такой свирепостью всегда отгораживалась от нас — да и от всех прочих, — что мне неизменно казалась попросту неспособной на нежные чувства и страстные желания.

¹ После «расшифровки» английский текст выглядит так: «I want to explain. I can not bear it any more». — «Я хочу объяснить. Я не могу больше это терпеть». (Здесь и далее примечания переводчика.)

К примеру, я никогда не видела ее плачущей. Она и улыбалась-то редко, и то лишь на кухне, в окружении набора излюбленных приправ, непременно находившихся у нее под рукой; в такие минуты она то ли разговаривала сама с собой, то ли что-то монотонно напевала себе под нос, точно по списку произнося названия разных трав и специй: «корица, тимьян, перечная мята, кориандр, шафран, базилик, любисток»; иной раз это перечисление прерывалось замечанием вроде: «Надо черепицу на крыше проверить» или: «Надо, чтобы жар был ровный. Если мало жара, то блины выйдут бледные, если много — масло гореть начнет, дым пойдет, а блины получатся слишком сухие». Позже я поняла: она пыталась меня учить. Впрочем, я слушала ее внимательно, потому что только во время этих уроков на кухне мне удавалось заслужить капельку ее одобрения; ну и потому, конечно, что любая, даже самая беспощадная, война время от времени требует передышки и амнистии пленным. Моя мать родом из Бретани, так что рецепты тамошних деревенских кушаний всегда были ее любимыми. Блинчики из гречневой муки мы ели в самых разных видах и с самой разной начинкой, в том числе и в виде блинного пирога, например *galette bretonne*¹. Эти пироги мы также продавали в Анже, расположенном немного ниже по течению Луары. Там же мы продавали и домашний козий сыр, и домашнюю колбасу, и, конечно, фрукты.

Мать всегда хотела завещать ферму Кассису. Но именно он первым из нас, невольно ее послушавшись, покинул дом и уехал в Париж. Всякая связь с ним оборвалась; разве что раз в год на Рождество приходила поздравительная открытка с его подписью; и когда спустя тридцать шесть лет мать умерла, полуразвалившийся дом на берегу Луары уже ничем не мог заинтересовать Кассиса. Я выкупила у него

¹ Бретонские лепешки; блинный пирог по-бретонски (фр.).

ферму, истратив на это все свои сбережения, всю свою «вдовью долю», и, кстати, заплатила недешево, но это была честная сделка, брат с радостью ее заключил, понимая, что отцовскую ферму стоило бы сохранить.

Однако теперь все переменилось. Дело в том, что у Кассиса остался сын, который женат на Лоре Дессанж, той самой, что пишет книжки по кулинарии, и у них в Анже свой ресторан под названием «Деликатесы Дессанж». При жизни брата я всего несколько раз видела его сынка, и тот совершенно мне не понравился. Темноволосый, вульгарный и уже начинающий заплывать жирком, как и его отец; но физиономия все еще довольно смазливая, и ему об этом прекрасно известно. Он все суетился, все пытался мне угодить, называл меня тетушкой, сам принес мне стул, постарался усадить как можно удобнее, сам приготовил кофе, положил сахар, налил сливок, а потом стал расспрашивать о моем здоровье и всячески мне льстить, так что меня от этих сладких слов и ухаживаний чуть не стошнило. Кассису к тому времени уже перевалило за шестьдесят, сердце у него стало сдавать, и он сильно отекал; впоследствии коронарная недостаточность и свела его в могилу. На сына своего он взирал с нескрываемой гордостью, в его глазах читалось: «Ты посмотри, какой чудесный у меня сынок! Какой у тебя прекрасный внимательный племянник!»

Кассис назвал его Янником в честь нашего отца, но мне это любви к племянничку не прибавило. Помнится, мать тоже терпеть не могла всех этих условностей, этого фальшивого, «семейного» сюсюканья. И мне отвратительны бесконечные объятия и слащавые улыбки. Совершенно не понимаю, почему родственная связь должна непременно вызывать в людях взаимную симпатию. Неужели мы должны любить друг друга только потому, что в нашей семье столько лет тщательно хранится одна тайна, связанная с пролитой кровью?

Нет-нет, не думайте, что я забыла об этом деле. Ни на минуту не забывала, хотя другие очень даже старались забыть, Кассис — дряя писсуары в сортире одного бара в парижском пригороде, Ренетт — трудясь билетершей в порнокинотеатре на площади Пигаль и, точно бродячая собачонка, стараясь пристать то к одному хозяину, то к другому. Вот чем кончилась ее любовь к помаде и шелковым чулкам. Дома-то она была Королевой урожая, красавицей, другой такой во всей деревне не сыскать. А на Монмартре все женщины выглядят одинаково. Бедная Ренетт!

Я знаю, о чем вы думаете: вам не терпится, чтобы я поскорее продолжила рассказ о своем прошлом. А точнее, поведала ту самую историю, которая всех вас теперь волнует. Верно, это единственная ниточка в моем изрядно запятнанном старом флаге, которую видно достаточно ясно. Вам хочется послушать о Томасе Лейбнице. Хочется выяснить все до конца, разложить по полочкам все наши поступки. Только сделать это ох как непросто. Ведь в моей истории, как и в материнском альбоме, страницы не пронумерованы. Да и начала-то, собственно, нет, а конец выглядит отвратительно, точно неподшитый, обтрепавшийся подол юбки. Но я уже стара — похоже, все здесь слишком быстро стареет, наверно, воздух такой, — и у меня свой собственный взгляд на те события. Так что торопиться не буду, а вам придется во многом разобраться и многое понять. Почему моя мать поступила именно так? Почему мы так долго скрывали правду? И почему я решила именно сейчас поведать эту историю людям, совершенно мне незнакомым, которые к тому же уверены, что целую жизнь можно уместить в сжатом виде на двух полосах воскресного приложения, снабдив материал парочкой фотографий и цитатой из Достоевского? Дочитал, страницу перевернул — и дело

с концом. Нет. На этот раз они у меня каждое слово запишут. Конечно, я не могу их заставить все напечатать, но, Богом клянусь, они выслушают меня. Это я заставлю их сделать.

2

Меня зовут Фрамбуаза Дартижан. Здесь я и родилась, в этой самой деревне Ле-Лавёз, что на Луаре, километрах в пятнадцати от Анже. В июле мне стукнет шестьдесят пять; за эти годы я высохла, пожелтела, как сушеный абрикос, и насквозь пропеклась солнцем. У меня две дочки: Писташ¹ замужем за банкиром из Ренна, а Нуазетт² еще в 1989-м перебралась в Канаду и пишет мне два раза в год. Есть у меня и двое внуков, они каждое лето приезжают ко мне на ферму. Хожу я в черном — это траур по мужу, умершему двадцать лет назад. Под фамилией мужа я и вернулась тайком в родную деревню, чтобы выкупить ферму, некогда принадлежавшую моей матери, но давным-давно заброшенную и наполовину уничтоженную пожаром и непогодой. В Ле-Лавёз я известна под именем Франсуазы Симон, *la veuve Simon*³, и никому даже в голову не придет связать меня нынешнюю с семейством Дартижан, покинувшим эти края после того ужасного случая. Сама не знаю, почему мне понадобилась родительская ферма. И в эту деревню меня, возможно, потянуло из чистого упрямства. Впрочем, я всегда была упрямой. А Ле-Лавёз — моя родина, здесь мои корни. И годы, прожитые с Эрве, я теперь воспринимаю как пробелы своей биографии, как тихие полосы воды, которые порой встречаются среди штормящего моря — некие мгновения безмятежно-

¹ Pistache — фисташка (фр.).

² Noisette — лесной орех (фр.).

³ Вдова Симон (фр.).

го ожидания и забытья. Но родную деревню я никогда по-настоящему не забывала. Ни на мгновение. Какая-то часть моей души всегда оставалась там.

Понадобился почти год, чтобы старый дом вновь стал пригодным для жилья; все это время я обитала в южном крыле — там, по крайней мере, хоть крыша сохранилась. Пока рабочие плитку за плиткой меняли черепицу, я работала в саду, вернее, в том, что от него осталось, полола, подрезала ветки, выдирала из земли здоровенные плети хищной омелы, оплетшей стволы. Моя мать страстно любила все фруктовые деревья, кроме апельсиновых; апельсины она на дух не переносила. Она и всех нас в угоду собственной прихоти назвала в честь различных фруктовых лакомств. Кассис¹ получил имя в честь ее пышного пирога с черной смородиной, я, Фрамбуаза², — в честь ее малиновой наливки, а наша Ренетт, Рен-Клод, — в честь ее знаменитых тартинок со сливовым джемом³. Этот джем она варила из слив-венгерок, росших вдоль всей южной стены дома, сочных, как виноград, и с середины лета истекавших соком из-за впивавшихся в них ос. Одно время у нас в саду было больше ста деревьев: яблони, груши, сливы, обычные и венгерки, вишни, айва, я уж не говорю о стройных рядах аккуратно подвязанных кустов малины, о целых полях клубники, о зарослях крыжовника, смородины и коринки; все эти ягоды сушили, консервировали, превращали в конфитюр и наливки, а также в крошечные круглые пирожные из *rôte brisée*⁴ со сладким кремом и миндальной пастой. Мои воспоминания наполнены этими ароматами, этими красками, этими названиями. С фруктовыми деревьями мать обращалась, точно с любимыми детьми. Если случались заморозки,

¹ Cassis (фр.) — черная смородина.

² Framboise (фр.) — малина.

³ Reine-claude (слива-венгерка) (фр.).

⁴ Песочное тесто (фр.).

она готова была истратить все наше драгоценное топливо, окуривая сад. Каждую весну в землю у корней бочками вносился навоз. Летом, чтобы отпугнуть птиц, мы привязывали к концам веток фигурки из фольги, которые шуршали и трепетали на ветру, а также туго натягивали по всему саду проволоку и развешивали на ней пустые консервные банки, своим дребезжанием отпугивавшие птиц; еще мы делали «мельнички» из разноцветной бумаги, которые крутились, как бешеные. В итоге наш сад весь сверкал и звенел, украшенный как для карнавала, и казалось, будто мы среди лета устроили рождественскую вечеринку.

У каждого материнного дерева имелось свое имя. «Прекрасная Ивонна» — так мать с нежностью называла старую кривоватую грушу. «Аквитанская роза, бере короля Генриха, — машинально произносила она, проходя мимо, и голос ее звучал мягко и задумчиво. — Конфранс. Вильямс. Гислен де Пентьевр». И невозможно было понять, то ли она обращается ко мне, идущей рядом, то ли разговаривает сама с собой.

Ах, эта сладость...

Теперь в саду меньше двух десятков стволов. Впрочем, мне самой и этого более чем достаточно. Особой популярностью пользуется моя кисленькая вишневая наливка, а вот название этого сорта вишни я уже не помню, из-за чего чувствую себя немного виноватой. Готовить наливку — проще некуда, главное — не вынимать из ягод косточки. Берете широкогорлую банку, кладете в нее слоями ягоды и сахар и каждый слой заливаете чистым спиртом — лучше всего использовать кирш, но можно водку или даже арманьяк, — и так до половины банки. Сверху долейте еще немного спирта и ждите. Каждый месяц надо аккуратно встряхивать банку, чтобы оставшийся сахар окончательно растворился и прошел внутрь. За три года мякоть вишен выцветет добела, и весь красный цвет вбе-

рет в себя наливка; покраснеют даже вишневые косточки, даже крошечное ядрышко внутри станет ярко-розовым, и его вкус и аромат пробудят воспоминания о давно минувшей осени. Наливку следует разливать в ликерные рюмки и непременно подавать каждому ложечку для вылавливания вишен. Вишенку следует держать во рту, пока она, пропитанная ликером, не растает на языке. Сперва ее надо прокусить и выпустить изнутри самую вкусноту, а потом долго катать кончиком языка, словно бусину от четок, пытаясь вспомнить, как эта вишенка зрела тем жарким летом, сменившимся не менее жаркой осенью, когда наш колодец совершенно пересох, а в саду завелось немыслимое количество ос; вот так все минувшие дни и годы, утраченные и вновь обретенные, воскресают в памяти благодаря лишь крошечному вишневому ядрышку.

Да знаю я, знаю. Вам не терпится поскорее перейти к сути истории. Но ведь и прочие подробности не менее важны. Таков уж мой способ повествования; и это только мое дело, сколько времени я потрачу на рассказ. Если уж мне понадобилось целых пятьдесят пять лет, чтобы его начать, то теперь дайте мне и закончить его так, как мне самой нравится.

Когда я вернулась в Ле-Лавёз, то была почти уверена: никто не узнает меня. И расхаживала повсюду открыто, даже несколько вызывающе. Я решила: если кто и впрямь меня вспомнит, если разглядит в моем облике черты матери, лучше мне сразу это заметить. Предупрежден — знает, вооружен.

Каждый день я ходила на берег Луары и сидела на плоских камнях, где когда-то мы с Кассисом ловили линей. От нашего Наблюдательного поста остался только пенек, и я на этом пне немного постояла. Теперь и некоторые из Стоячих камней обвалились, однако на Скале сокровищ все еще виднелись вбитые нами колышки, на которых мы

развешивали свои трофеи: гирлянды, ленты, а потом и голову той проклятой Старой щуки, когда ее наконец удалось поймать.

Я посетила табачную лавку Брассо — теперь там хозяйничает его сын, но и старик еще жив, и глаза у него по-прежнему черные, острые, гибельные; потом заглянула в кафе Рафаэля и на почту, которой заведует Жинетт Уриа. Я даже к памятнику павшим воинам сходила. С одной стороны там высечен в камне список из восемнадцати имен наших солдат, убитых во время войны, и над ними надпись: «Они погибли за Родину». Я заметила, что имя моего отца стесано стамеской, теперь между «Дариус Ж.» и «Фенуй Ж.-П.» темнеет лишь грубая бороздка. С другой стороны памятника прикреплена бронзовая табличка с десятью именами, написанными более крупно. Эти имена мне и читать было незачем, я и так знала их наизусть. Но все же притворилась, будто впервые вижу, поскольку не сомневалась: кто-нибудь непременно возьмется рассказать мне ту трагическую историю. А также, возможно, покажет то самое место у западной стены церкви Святого Бенедикта и пояснит, что здесь каждый год служат особую мессу по погибшим и вслух зачитывают их имена со ступеней мемориала, а потом возлагают к памятнику цветы. «Интересно, — думала я, — удастся ли мне все это выдержать? Вдруг кто-то по выражению моего лица догадается, что тут дело нечисто?»

Мартен Дюпре, Жан-Мари Дюпре, Колетт Годен, Филипп Уриа, Анри Леметр, Жюльен Ланисан, Артюр Лекоз, Аньес Пети, Франсуа Рамонден, Огюст Трюриан. Еще очень многие помнят этих людей. Многие носят те же фамилии и даже похожи на почивших здесь родственников. Все эти семьи по-прежнему живут в Ле-Лавёз: Уриа, Ланисаны, Рамондены, Дюпре. Почти шестьдесят лет прошло, но они ничего не забыли, и старшее поколение с детства воспитывает в молодых ненависть.

Какой-то интерес ко мне в деревне, разумеется, возник. Точнее, любопытство. Странно, зачем ей понадобился этот дом? Ведь он стоит заброшенный с тех пор, как оттуда убралась эта особа, эта Дартижан. «Деталей, мадам, я, конечно, не помню, но мой отец... и мой дядя...» «Господи, и с чего вдруг вам вздумалось покупать именно эту ферму?» — спрашивали они. Полуразрушенная ферма была для них точно бельмо на глазу, точно грязное пятно на скатерти. Деревьев в саду сохранилось немного, да и те были сильно повреждены омелью и болезнями. Наш старый колодец завалили мусором и камнями и забетонировали. Но я-то помнила, какой ухоженной, какой процветающей, какой полной жизни была некогда наша ферма; сколько там было животных: лошади, козы, куры, кролики. Мне нравилось думать, что те дикие кролики, порой забегавшие в сад со стороны северного поля, — возможно, далекие потомки наших кроликов; и порой я даже замечала белые пятнышки на их бурых шкурках. Отвечая на вопросы особо назойливых, я выдумала целую историю о том, как провела детство на ферме в Бретани, добавляя при этом, что всегда мечтала вернуться на землю, а эту ферму продавали уж больно дешево. Держалась я скромно, словно бы извиняясь за что-то. И все же кое-кто из старожилков посматривал на меня подозрительно; а может, здесь было принято считать, что эта ферма должна навсегда остаться своеобразным памятником.

Носила я по-прежнему все черное и волосы всегда покрывала шарфом или платком. В общем, с самого начала выглядела женщиной уже немолодой. Приняли меня далеко не сразу. Местные жители вели себя со мной вежливо, однако особого расположения не выказывали, а поскольку я и сама общительностью никогда не отличалась — сушая дикарка, как говорила мать, — то сближения не происходило. Церковь я не посещала, хотя прекрасно понимала,

какое это производит впечатление. Но заставить себя пойти туда так и не смогла. Возможно, это было проявлением той же самоуверенности или даже презрения к общественному мнению, которое и мою мать заставило в пику всем назвать нас троих не именами святых, а словами, обозначающими фрукты и ягоды. И только открыв свою лавчонку, я наконец почувствовала себя частью здешнего общества.

Да, с этого магазинчика, который я планировала в будущем расширить, все и началось. Через два года по приезде в Ле-Лавёз деньги, оставшиеся после смерти Эрве, практически кончились. Зато в доме теперь вполне можно было жить. А вот до земли руки у меня по-прежнему не доходили; дюжина деревьев, пять-шесть грядок с овощами, две низкорослые козочки да несколько кур и уток — вот и все мое хозяйство. И мне было совершенно ясно: потребуется немало времени, чтобы превратить эти запущенные земли в источник дохода. Тогда я решила печь и продавать пироги, бриоши и коврижки; кое-что я готовила по местным рецептам, а кое-что по бретонским, унаследованным от матери, — например, свернутые в трубочку кружевные блинчики с начинкой, фруктовые тартинки, рассыпчатое песочное печенье, бисквиты, ореховые хлебцы и сухие, хрустящие галеты с корицей. Сперва я продавала свою выпечку через местную булочную, потом стала торговать прямо у себя на ферме, понемногу увеличивая ассортимент и добавляя к нему другие продукты: яйца, козий сыр, разнообразные домашние наливки и вина. Вырученные деньги позволили мне завести свиней и кроликов; позднее я прикупила еще и несколько коз. Пользуясь старыми рецептами моей матери, я действовала чаще всего по памяти, но время от времени заглядывала и в ее альбом.

Память порой вытворяет такие странные штуки. Судя по всему, в Ле-Лавёз никто и не помнит, как прекрасно

готовила моя мать. А кое-кто из старожилов осмелился даже утверждать, что я разительно отличаюсь от прежней хозяйки этой фермы, которая, судя по их рассказам, была сущей неряхой и букой с вечно каменным лицом. И в доме-то у нее воняло черт знает чем, и дети у нее постоянно бегали босыми. Вот и слава богу, заключали они, что ее здесь больше нет. Меня это вранье, конечно, коробило, но я молчала. А что, собственно, я могла возразить? Что моя мать каждый день натирала полы воском? Что она заставляла нас дома надевать войлочные шлепанцы, чтобы не царапать пол? Что в ящиках под окнами у нее всегда было полно цветов? Что и нас, своих детей, она драила с той же яростной беспристрастностью, с какой отскребала ступени крыльца? Что она терла нам лица фланелью столь же неистово, порой чуть ли не до крови, как и свой фарфор?

О ней вообще говорили только плохое. А в одной книжке даже помянули дурным словом. Ну, это не то чтобы книжка — так, брошюрка, всего-то страниц пятьдесят да несколько фотографий; на одном снимке запечатлен памятник павшим воинам, на другом — крупным планом злополучная западная стена церкви Святого Бенедикта. О нас троих там, слава богу, лишь пара фраз, даже имена наши не названы. Зато имеется весьма расплывчатая фотография матери: волосы так сильно зачесаны назад, что глаза кажутся немного раскосыми, как у китайца, губы неодобрительно поджаты. Есть там и фотография нашего отца, сделанная для какого-то документа, точно такая, как в материном альбоме; он в военной форме и выглядит каким-то нелепо молодым, с одного плеча небрежно свисает винтовка, сам улыбается во весь рот. А в конце книжонки я обнаружила снимок, от которого у меня сразу перехватило дыхание, и я стала задыхаться, точно рыба, проглотившая крючок. Четверо молодых мужчин в немец-

кой форме, трое стоят плечом к плечу, а четвертый, с саксофоном, держится чуть поодаль, и вид у него чрезвычайно самоуверенный. У остальных тоже в руках музыкальные инструменты: труба, барабан, кларнет. И хотя имена их не названы, я сразу узнаю всех четверых. Это военный музыкальный ансамбль деревни Ле-Лавёз, примерно 1942 год. Самого правого, с саксофоном, зовут Томас Лейбниц.

Я была совершенно ошарашена: где это они раскопали столько подробностей? И откуда у них фотография моей матери? Насколько мне было известно, никаких ее фотографий попросту не существовало. Даже я когда-то сумела разыскать только одну, на дне ящика комода у нее в спальне; это была старая свадебная фотография: жених и невеста в зимней одежде на крыльце церкви Святого Бенедикта; он — в шляпе с широкими полями, у нее — волосы распущены и за одним ухом цветок. Хорошенькая, совершенно не похожая на мать, улыбается застенчиво, даже скованно, и смотрит прямо в объектив, а молодой муж покровительственно обнимает ее рукой за плечи. Прекрасно представляя, как рассердится мать, если узнает, что я видела эту фотографию, я тут же убрала ее на прежнее место. Отчего-то меня всю трясло, хотя я и сама не понимала, что на меня так сильно подействовало.

А на том снимке, в книжке, мать куда больше походила на себя — точнее, на ту женщину, которую, как мне казалось, я знала всю жизнь, а на самом деле не знала вовсе. С лицом, словно окаменевшим от сдерживаемого гнева. И лишь обнаружив на форзаце книжки фотографию автора, я наконец поняла, откуда взялась вся эта информация. Ну еще бы, Лора Дессанж, журналистка и знаменитый автор книг по кулинарии! Рыжие волосы коротко подстрижены, на лице профессиональная улыбка. Жена Янника. Невестка Кассиса. Бедный глупый Кассис! Бедный слепой Кассис! Ослепленный гордостью за своего удачливого

сына. Выболтал все Лоре, рискуя тем, что всех нас выведут на чистую воду... и ради чего, собственно? Неужели он и впрямь поверил своим тщеславным фантазиям?

3

Вы должны сразу понять: для нас оккупация была чем-то совсем иным, чем для жителей крупных городов и столицы. Жизнь в Ле-Лавёз и после войны практически не изменилась. Ну что там сейчас есть? Несколько улиц, по большей части не шире обычной проселочной дороги, сходящихся на единственном перекрестке в центре деревни. Церковь, конечно. Памятник павшим воинам на площади Мучеников и возле него маленький скверик, а за ним старый фонтан. Затем — на улице Мартена и Жана-Мари Дюпре — почтовое отделение, мясная лавка Пети, кафе «La Mauvaise Réputation»¹, табачная лавка-бар, где на стойке выставлены открытки с памятником павшим воинам, а у крыльца — качалка, в которой вечно сидит старый Брассо; напротив цветочный магазин, он же похоронное бюро. В Ле-Лавёз всегда в цене две вещи: еда и смерть. Чуть дальше магазин, которым по-прежнему владеет семейство Трюриан; теперь уже, к счастью, там заправляет их внук, молодой человек, который лишь недавно сюда переехал. И в самом конце улицы — старый, выкрашенный желтой краской почтовый ящик.

Сразу за главной улицей течет Луара, гладкая и коричневая, точно греющаяся на солнце змея, и широкая, как пшеничное поле; ее поверхность изрезана неправильной формы пятнами отмелей и островков, которые проезжающим мимо туристам, направляющимся в Анже, могут показаться столь же надежными и прочными, как дорога под колесами их автомобиля. Однако это совсем не так. Островки посто-

¹ «Дурная репутация» (фр.).

янно движутся, словно не имея корней. Незаметно подталкиваемые снизу течением бурой воды, они то погружаются в реку, то выныривают на поверхность, точно неторопливые желтые киты, оставляя после себя небольшие водовороты, с виду довольно безвредные, но только если смотреть на них с лодки; на самом деле эти водовороты смертельно опасны для пловца; там подводное течение безжалостно тянет вниз, на дно, не давая человеку снова подняться на поверхность, не давая ему дышать, и самым вульгарным образом его топит. В нашей старой Луаре рыбы по-прежнему много; линь, щука, угорь вырастают порой до гигантских размеров благодаря тому, что кормятся сточными водами и всякой дрянью, приплывающей сюда из верховий. Почти каждый день на реке можно увидеть рыбацьи лодки, но в половине случаев рыболовы свой улов попросту выбрасывают.

В сарайчике у старого причала Поль Уриа торгует наживкой и рыболовными снастями; это, как мы говорили в детстве, в полуплевке от того места, где Кассис, Поль и я обычно ловили рыбу и где Жаннетт Годен укусила водяная змея. У ног Поля лежит старый пес, невероятно похожий на ту коричневую дворняжку, что в былые времена повсюду его сопровождала, а сам Поль неотрывно смотрит на воду, на леску с наживкой, словно надеется что-то поймать.

Интересно, а он-то помнит? Иногда я замечаю, как он смотрит на меня — в моей блинной он самый постоянный посетитель, — и я, пожалуй, почти уверена, что он все помнит отлично. Он постарел, конечно. Как и все мы. Его круглое, лунообразное лицо потемнело, обвисло и приобрело какое-то похоронное выражение, которое усугубляют вислые усы цвета жеваного табака. В зубах у него вечно зажата сигарета. Он редко что-то говорит — впрочем, он никогда общительностью не отличался, — но смотрит на меня всегда очень внимательно, и в глазах у него какая-

то собачья преданность и печаль; темно-синий берет, как и прежде, сдвинут на одно ухо. Ему нравятся мои блинчики и мой сидр. Возможно, именно поэтому он так мне ни слова и не сказал. Да он и не любитель устраивать сцены.

4

Блинную я открыла лишь через четыре года после своего возвращения в Ле-Лавёз. К этому времени мне уже и деньжонок удалось поднакопить, и постоянные покупатели у меня появились, да и в деревне меня худо-бедно приняли. А для работы на ферме я наняла парня из Курле, не из местных, к нашим знаменитым семьям он отношения не имеет. Обслуживать клиентов в кафе мне помогает молоденькая Лиз. Сначала я поставила всего пять столиков: здесь ведь самое главное — казаться незаметной, хотя бы сперва, и ни у кого не вызывать подозрений своим неожиданным «процветанием», но вскоре количество столиков пришлось удвоить, а в погожие дни мы с Лиз размещали столики еще и на террасе перед домом. У меня все просто. И меню весьма небогатое: блинчики из гречневой муки с разнообразными начинками плюс одно основное блюдо, правда, каждый день новое, и несколько десертов. Так что с готовкой я вполне сама справляюсь, а Лиз принимает заказы и подает кушанья. Я назвала свое заведение «*Stêpe Framboise*»¹ по своему фирменному блюду — сладким блинчикам с малиновым *coulis*² и домашней наливкой. И я, улыбаясь про себя, думала: интересно, как бы они отреагировали, если б узнали? А ведь кое-кто из постоянных посетителей вскоре даже стал называть мое заведение «*Chez Framboise*»³, и это еще больше меня веселило.

¹ «Блинчик с малиной» (фр.).

² Подливка; здесь: сироп (фр.).

³ «У Framбуазы» (фр.).

Как раз в то время на меня опять стали поглядывать мужчины. Видите ли, по меркам Ле-Лавёз, я была женщиной вполне обеспеченной и еще нестарой. В конце концов, мне исполнилось тогда всего пятьдесят. И потом, всем было известно, что я не только хорошо готовлю, но и дом содер­жу в полном порядке. Вот многие и начали за мной вроде как ухаживать; некоторые и впрямь были люди неплохие, вроде Жильбера Дюпре или Жана-Луи Леласьяна, но попадались и такие лентяи и бездари, как Рамбер Лекоз, кото­рый только и мечтает кому-нибудь сесть на шею, чтоб его до конца жизни вкусно и бесплатно кормили. Внимание ко мне проявлял даже Поль, милый Поль Уриа со своими вис­лыми, выцветшими от никотина усами, наш вечный мол­чун. Разумеется, сама я ни о чем таком не помышляла. «Нет уж, — решила я, — больше подобной глупости ни за что не совершу». Хотя порой в душе и шевелились горькие сожа­ления. Но теперь у меня имелось собственное дело, я стала хозяйкой материной фермы; да и воспоминания о про­шлом никогда меня не оставляли. А заведи я мужа, и со всем этим пришлось бы проститься. Ведь в таком случае вряд ли мне удалось бы и дальше скрывать, кто я такая на самом деле. И даже если б жители деревни простили мне мое про­исхождение, то этих пяти лет обмана они бы не простили мне никогда. Так что я всем своим ухажерам отказывала, вела себя осторожно и мудро, и в итоге меня сперва сочли безутешной вдовой, затем неприступной крепостью, а еще через несколько лет — попросту старухой.

Теперь-то я почти десять лет живу в Ле-Лавёз. И в по­следние годы стала приглашать к себе на лето Писташ с семьей — они уж лет пять, наверное, ко мне ездят. При­ятно смотреть, как детишки растут и превращаются из смешных глазастых свертков в настоящих маленьких человечков, похожих на ярко окрашенных птичек, так и снующих по моему саду и лугу на своих невидимых кры-

лях. Писташ всегда была очень хорошей дочерью. А вот Нуазетт, моя тайная любимица, больше напоминает меня: такая же скрытная, такая же бунтарка, и глаза у нее такие же черные, и душа так же полна жажды свободы и неповиновения. Я могла бы, наверное, остановить ее, не дать ей уехать — возможно, хватило бы одного слова, одной улыбки, — но я ничего не сделала из опасения, что она станет относиться ко мне так же, как я к своей матери. Письма от нее приходят равнодушные, написанные как бы по обязанности. Замужество ее закончилось плохо. Она работает официанткой в круглосуточном кафе в Монреале. Когда я предлагаю ей деньги, она отказывается. А Писташ... Такой, как Писташ, могла бы стать наша Ренетт: такой же пухленькой, доверчивой и нежной, так же обожающей своих детей и яростно бросающейся на их защиту. У Писташ мягкие каштановые волосы, а глаза зеленоватые, как ядрышко того ореха, в честь которого она и получила свое имя. Благодаря Писташ и ее детям я многому научилась и теперь как бы вновь проживаю с ними самые лучшие, самые счастливые мгновения собственного детства.

Ради своих внуков я снова научилась быть матерью семейства, печь блинчики и толстые «пальчики» с травами и яблочной начинкой. Я варила для них варенье из инжира и из зеленых помидоров, из кислой вишни и из айвы. Я позволяла им играть с маленькими коричневыми проказливыми козочками и угощать их сухариками и кусочками морковки. Мы вместе кормили кур, гладили мягкие лошадиные морды, собирали щавель для кроликов. Я показала им реку, научила доплывать до солнечных отмелей. Скрепя сердце я разрешила им это, предупредив обо всех опасностях — змеях, корнях, водоворотах, омутах, зыбучих песках, и заставила клятвенно пообещать, что они никогда-никогда не будут одни купаться в таких опасных местах. Я показала им самые лучшие грибные места в лесу,

научила отличать настоящую лисичку от ложной и, приподнимая листья черничных кустиков, угощала их вкусными кисленькими ягодами. Именно таким должно было быть детство и у моих дочерей. А вместо этого у них было дикое побережье в Северном Арморике — там мы с Эрве жили какое-то время, — пляжи, продуваемые всеми ветрами, сосновые леса и мрачные каменные дома, покрытые шифером. Я старалась быть им хорошей матерью, честно старалась, и все же постоянно чувствовала, что в наших отношениях чего-то не хватает. Теперь я понимаю: нам не хватало вот этого самого дома, этой фермы, этих полей и сонной вонючей Луары — в общем, не хватало Ле-Лавёз. Вот чего мне хотелось для своих дочерей. И я начала все сначала — уже со своими внуками. С ними я всегда была снисходительной, как бы оправдывая этой снисходительностью себя прежнюю.

Мне приятно думать, что и моя мать, будь у нее такая возможность, поступала бы так же. Я представляю ее себе этаким безмятежной старушкой, спокойно принимающей любые мои упреки: «Нет, правда же, мам, ты мне совершенно испортишь детей!» А она выслушает меня и, не испытывая ни малейшего раскаяния, весело им подмигнет. Теперь мне все это отнюдь не кажется таким уж невозможным, как казалось когда-то. Или, может, я просто заново ее выдумываю? Может, на самом деле она была именно такой, какой я помню ее: женщиной с каменным лицом, которая никогда не улыбается и следит за мной равнодушными, но какими-то странно голодными глазами?

Внучек своих она никогда не видела; она даже не знала, что они существуют. Эрве я сказала, что мои родители умерли, и он никогда не сомневался в этом. У него самого отец был рыбаком, а мать, маленькая, кругленькая, похожая на куропатку, продавала пойманную им рыбу на рынке. Я завернулась в их доброе ко мне отношение,

точно в чье-то чужое теплое одеяло, прекрасно понимая, что однажды так или иначе буду вынуждена вернуться к прежней, холодной жизни без них. Эрве был очень хорошим человеком, спокойным и начисто лишенным тех острых граней, о которые я могла бы порезаться. Я любила его — не как Томаса, не с той иссушающей душу отчаянной страстью, но все-таки достаточно сильно.

Когда в 1975 году он умер — в него попала молния, когда они с отцом отправились ловить угрей, — я сильно горевала, но горе мое было словно приправлено некой неизбежностью, почти облегчением. Да, мы с ним прожили хорошую жизнь, но она закончилась. А моя жизнь — моя собственная жизнь — продолжалась. Я вернулась в Ле-Лавёз через полтора года после смерти Эрве с таким ощущением, будто проснулась после затянувшегося сна без сновидений.

Вам может показаться странным, что я столь долго ждала, прежде чем тщательно познакомиться с материным альбомом. Если не считать черного трюфеля (из Перигё), альбом был моим единственным законным наследством, а я целых пять лет туда не заглядывала. Разумеется, многие рецепты я и так знала наизусть, мне вовсе не нужно было в них вчитываться, и все-таки. Я ведь даже не присутствовала при оглашении завещания. Я даже не могу сказать, в какой точно день мать умерла, хотя мне известно, где именно: в Витре, в доме престарелых. От рака желудка. Там ее и похоронили, но сама я на тамошнем кладбище побывала лишь однажды. Нашла могилу матери у самой дальней стены возле мусорных баков. На ней написано: «Ми-рабель Дартижан» — и указаны даты рождения и смерти. С некоторым удивлением я обнаружила, что мать за чем-то лгала нам насчет своего возраста.

Собственно, я и сама толком не знаю, что меня подвигло на внимательное изучение материного альбома. Это случилось в мое первое лето в Ле-Лавёз, когда я приехала туда

после смерти Эрве. Стояла засуха; вода в Луаре опустилась, наверное, метра на два ниже обычного уровня, обнажив уродливые извивы старого русла и придонные выступы, напоминавшие сточенные пеньки гнилых зубов. Из обмелевших берегов тянулись к воде корни, желтовато-белые, словно выгоревшие на солнце; среди этих корней на песке играли дети, бегая босиком по зловонным коричневым лужам и вылавливая палками плывущий вниз по течению мусор. До того лета я старалась не заглядывать в материн альбом; даже при мысли о нем я чувствовала себя странно виноватой, словно я украдкой за ней подглядываю, а она вот-вот войдет и увидит, что я «опять сую нос» в ее странные тайны. Хотя на самом деле мне вовсе и не хотелось выведывать ее тайны. Какой-то внутренний голос твердил мне, что это нехорошо, что этого делать нельзя, что это не лучше, чем прокрасться ночью в спальню родителей и услышать, как они занимаются любовью. В общем, мне понадобилось более десяти лет, чтобы понять: голос, предостерегающе звучавший у меня в ушах, принадлежал не моей матери, а мне самой.

Как я уже говорила, большую часть ее записей разобрать оказалось практически невозможно. Тот странный язык, очень похожий на итальянский, но только совершенно непроизносимый, который использовала мать, был мне совершенно незнаком; и после нескольких неудачных попыток расшифровать записи я бросила эту затею как совершенно бессмысленную. Рецепты блюд, впрочем, читались легко, они представляли собой либо вырезки из газет, либо были вполне четко написаны синими или фиолетовыми чернилами; но прочие ее небрежные каракули — стихи, рисунки, какие-то подсчеты, вставленные между рецептами или рядом с ними, — я толком разобрать так и не сумела; даже те записи, которые можно было прочесть, хотя и с трудом, мать делала без малейшего намека на логику и совершенно беспорядочно.

«Видела сегодня Гильерма Рамондена. С новой деревянной ногой. Р.-К. так на эту ногу устawiлась, что он засмеялся. И когда она спросила: “А вам не больно?”, ответил, что ему даже повезло: во-первых, его отец, башмачник, все больше деревянные сабо мастерит и хлопот с сыном теперь вполовину меньше, ведь ему только одна “деревяшка” и нужна, ха-ха-ха! Во-вторых, прибавил он, и вполовину меньше опасности, что во время вальса я отдавлю тебе пальцы, моя красавица. А я все думаю: какова его култыга изнутри, в подколотой пустой штанине? Она, наверное, напоминает недопеченный пудинг, перевязанный куском бечевки. Пришлось губу прикусить, чтобы не расхохотаться прямо ему в лицо».

Все это написано мелким почерком над рецептом белого пудинга. Мне от подобных «смешных» историй каждый раз становилось не по себе.

А о своих фруктовых деревьях мать упоминает в разных местах и каждый раз так, словно это живые люди: «Всю ночь бодрствовала вместе с Прекрасной Ивонной; она совсем больна, видно, простудилась в эти холода, бедняжка». Зато о нас, своих детях, она говорит редко, обозначая сокращениями: Р.-К., Касс. и Фра, а об отце в ее дневнике и вовсе ни слова. Нигде. Много лет я пыталась понять почему. Хотя тогда я еще не могла прочесть другие, тайные ее записи. В общем, если судить по ее дневнику, мой отец, которого я очень мало знала и плохо о нем помнила, словно и не существовал вовсе.

5

Потом началась эта история со статьей. Сама-то я, если честно, ее не читала; она была опубликована в таком журнале, где еда и ее приготовление преподносятся как модное веяние, как атрибут современного стиля

жизни: «В этом году, дорогая, все едят кускус, это просто *de rigueur*¹». Ну а для меня еда — это еда, это чувственное, хотя и мимолетное, удовольствие, порой эфемерное, как огни фейерверка, но почти всегда требующее немалых усилий. Впрочем, не следует воспринимать слишком серьезно и эти усилия, и сам процесс поглощения пищи. Господи, это же, в конце концов, не искусство! Съел — и все, проглотил — а с другого конца вышло. Короче, в одном из этих модных журналов появилась статья, называвшаяся то ли «Вниз по Луаре», то ли что-то подобное. Один знаменитый шеф-повар решил, двигаясь по направлению к побережью, посетить большую часть местных ресторанов и сравнить их. Он и ко мне заходил; я хорошо его запомнила: такой тощий, маленький, с собственными солонкой и перечницей в салфетке и с записной книжкой на коленях. Он отведал у меня паэлью по-антильски, салат с теплыми артишоками, затем угостился сахарно-масляным печеньем по материному рецепту с шипучим сидром моего приготовления и завершил трапезу рюмочкой малиновой наливки. А потом прямо-таки засыпал меня вопросами; его интересовали не только мои кулинарные рецепты, но и сама моя кухня, а также сад; он был совершенно потрясен, когда я показала ему погреб, где все полки заставлены всякими *terrines*², консервированными овощами и фруктами, а также ароматизированными маслами — с грецким орехом, с розмарином, с трюфелями — и бутылочками с разнообразным душистым уксусом: земляничным, лавандовым, яблочным. Он все допытывался, где я училась да где стажировалась; его, судя по всему, почти огорчило, когда в ответ на эти вопросы я только рассмеялась.

¹ Обязательный, диктуемый существующими условиями или модой (фр.).

² Мясные заготовки и паштеты (фр.).

Пожалуй, я слишком много ему показала и рассказала. Но видите ли, мне так польстило его внимание. Вот я и принялась предлагать ему: попробуйте то, попробуйте это. Ломтик rillettes¹, ломтик saucisson sec², глоточек моего грушевого ликера — той самой грушовки, которую мать обычно готовила в октябре из падалицы, сбитой ветром и уже начинавшей подгнивать. Эти груши, лежавшие на теплой земле, бывали настолько облеплены коричневыми осами, что приходилось пользоваться специальными деревянными щипцами, чтобы их подобрать. Я показала ему даже тот трюфель, который мать оставила мне в наследство; по-прежнему бережно мною хранимый, он плавал в масле и напоминал муху, застрявшую в куске янтаря. Гость изумленно уставился на трюфель, и я не смогла сдерживать улыбку.

— Вы хоть представляете, сколько это может стоить? — спросил он.

Да уж, тщеславию моему он, безусловно, польстил. А может, я просто чувствовала себя тогда немного одинокой, вот и рада была поговорить с человеком, который так хорошо меня понимал. Который смог, например, перечислить травы, положенные в terrine, попробовав всего лишь кусочек; который сказал, что я слишком хорошо готовлю, чтобы прозябать в подобной дыре, что это просто преступление — зарывать в землю такой талант. Возможно, я немного размечталась. Надо было, конечно, получше сообщать.

А несколько месяцев спустя и появилась статья. Кто-то принес ее мне, выдрав из журнала. Фотография моей сêregerie³, несколько абзацев, посвященных мне.

¹ Котлетки из мелкорубленной свинины или гусятины, обжаренные в сала (фр.).

² Сухие колбаски домашнего приготовления (фр.).

³ Блинная (фр.).

«Те, кто приезжает в Анже в поисках аутентичной кухни и всевозможных лакомств, могут, разумеется, сразу направиться в престижный ресторан “Деликатесы Дессанж”. Но в таком случае они наверняка пропустят одно из самых потрясающих открытий, которые я сделал во время своего путешествия по Луаре...» Читая это, я лихорадочно пыталась вспомнить, говорила ли я что-нибудь о Яннике. «...За непритязательным фасадом обычной деревенской фермы творятся настоящие чудеса кулинарии...» Дальше следовала всякая чушь насчет того, что «креативный гений этой дамы придал новый импульс сельским традициям». Нетерпеливо, чувствуя, как мою душу охватывает панический ужас, я скользила взглядом по строкам в поисках неизбежного. Одно-единственное упоминание фамилии Дартижан — и все мои столь тщательно возведенные бастионы зашатаются.

Может показаться, что я преувеличиваю. Ничего подобного. В Ле-Лавёз войну помнят очень хорошо. Там еще есть люди, которые до сих пор друг с другом не разговаривают. Например, Дениз Мориак с Люсиль Дюпре или Жан-Мари Боне с Коленом Брассо. А в Анже всего несколько лет назад нашли старую женщину, запертую в чердачном помещении над квартирой, что находилась на верхнем этаже. Не помните? Ее там заперли родители еще в 1945 году, узнав, что она сотрудничала с немцами. Ей было тогда всего шестнадцать лет. И вот через пятьдесят лет, когда ее отец наконец очоурился, беднягу выпустили оттуда, старую и безумную.

А как насчет тех стариков — некоторым из них восемьдесят, а то и девяносто, — которых судят как бывших военных преступников? Теперь это слепые старцы, больные, страдающие деменцией, с вечной счастливой улыбкой на лице и бессмысленным взглядом. Невозможно поверить, что и они когда-то были молоды. Невозможно предста-

вить себе, какие кровавые мысли таились в этих, ставших такими хрупкими, черепах, в этих мозгах, ныне лишенных памяти. Разбей сосуд, и его содержимое утечет от тебя. Всякое преступление живет своей жизнью и требует своего оправдания.

«По странному совпадению, — читала я дальше, — хозяйка блинной “Crêpe Framboise”, мадам Франсуаза Симон, оказалась родственницей хозяйки ресторана “Деликатесы Дессанж”...» У меня перехватило дыхание. Мне показалось, будто я случайно вдохнула пламя. А потом вдруг возникло ощущение, что я тону, коричневые воды реки тянут меня на дно, но языки пламени по-прежнему лижут мне глотку, проникают в легкие. «Да-да, нашей дорогой Лоры Дессанж! Странно, что она до сих пор не удосужилась выведать кулинарные секреты своей двоюродной бабушки. Я, например, безусловно, предпочту непритязательное очарование “Crêpe Framboise” любому из весьма элегантных — но таких малосъедобных! — деликатесов Лоры».

Я снова обрела способность дышать. Значит, племянница, а не племянник. Значит, мне все-таки удалось сохранить свою тайну.

С тех пор я дала себе обещание: больше никаких глупостей, никаких бесед с добрыми джентльменами, пишущими о кулинарии! Через неделю ко мне явился фотограф из другого парижского журнала, но разговаривать с ним я отказалась. Просьбы об интервью, приходившие по почте, я попросту игнорировала. Мне написал какой-то издатель, предлагая издать книгу кулинарных рецептов. Впервые в «Crêpe Framboise» был такой наплыв посетителей — и специально прибывших из Анже, и просто туристов, проезжавших мимо; это были элегантные господа на сверкающих новеньких автомобилях. Я дюжинами отсылала их прочь. У меня имелись постоянные клиенты

и привычное количество столиков — от десяти до пятнадцати, — и такое дикое количество людей я была просто не в состоянии обслужить.

Вести себя я старалась естественно. Но предварительные заказы принимать отказывалась, и люди выстраивались перед блинной в очередь. Пришлось пригласить еще одну официантку. И все же я не обращала внимания на столь внезапно возникшее и неприятное мне повышенное внимание к моему кафе. И когда снова приехал тот маленький человечек, пишущий о кулинарии, с которого все и началось, да еще и принялся со мною спорить, взывая к моему разуму, я даже слушать его не пожелала. «Нет, — сказала я, — не позволю вам использовать мои рецепты в вашей газетной колонке. И никакой книги по кулинарии я писать не буду. И никаких фотографий здесь делать не разрешу. «Crêpe Framboise» останется тем, чем и была: обыкновенной деревенской блинной».

Я понимала: если я буду тверда, как скала, и сумею продержаться достаточно долго, они в итоге оставят меня в покое. Но, увы, непоправимое уже свершилось: Лора и Янник знали теперь, где меня найти.

Кассис наверняка все им рассказал. Он давно уже поселился в Анже, в квартирке неподалеку от центра. На письма он, правда, никогда не был особенно щедр, но все же время от времени писал мне. Эти письма состояли в основном из похвал в адрес его знаменитой невестки и замечательного сынка. В общем, после той статьи и последовавшей шумихи Лора и Янник решили во что бы то ни стало меня разыскать. А в качестве «неожиданного подарка» притащили с собой Кассиса. Видно, думали, что мы растрогаемся после стольких лет разлуки. Но хоть у Кассиса глаза и слезились, как у всех старых ревматиков, мои-то остались совершенно сухими. Да в нем, собственно, почти ничего и не сохранилось от моего старшего брата, к которому

я когда-то была сильно привязана; он растолстел, черты лица расплылись и потонули в тестообразных щеках, нос покраснел, щеки покрылись паутиной фиолетовых сосудов, улыбка стала какой-то неуверенной. Те чувства, которые я испытывала к нему в детстве, считая его, своего старшего брата, героем, который может все — залезть на самое высокое дерево, прогнать диких пчел и украсть мед из улья, запросто переплыть Луару в самом широком месте, — теперь сменились легкой ностальгией по прошлому, обладавшей, к сожалению, изрядным привкусом презрения. Все это, в конце концов, было так давно. И этот толстяк, которого я увидела в дверях своего дома, казался мне совершенно чужим человеком.

Сперва они повели себя очень умно. Они ничего у меня не просили. Лишь выразили беспокойство по поводу того, что я живу совершенно одна, и преподнесли мне подарки: кухонный комбайн, страшно удивившись, что у меня до сих пор его нет, зимнее пальто и радиоприемник. И предложили съездить куда-нибудь вместе. А однажды даже пригласили меня в свой ресторан, больше похожий на просторный сарай, со столиками из искусственного мрамора, накрытыми клетчатыми бумажными скатерками, с неоновыми огнями, с сушеной морской звездой и ярко раскрашенными пластмассовыми крабами, «запутавшимися» в рыбацких сетях, развешанных по стенам. Я что-то такое буркнула насчет подобного интерьера, хотя и несколько неуверенно, и Лора тут же принялась объяснять мне, ласково похлопывая меня по руке:

— А это, тетушка, как раз и называется «китч». Вряд ли вам подобные вещи могут понравиться, но в Париже, поверьте, это сейчас очень модно.

И она улыбнулась мне, продемонстрировав все свои зубы. Зубы у нее были очень белые и очень крупные, а волосы — цвета только что смолотого перца. Они с Янни-

ком то и дело прямо на людях обнимались и целовались, и меня, должна сказать, это здорово смущало. А еда у них в ресторане была... современная, наверное. Тут я не судья. Какой-то салат с довольно убогой заправкой: много разных овощей, порезанных в виде мелких цветочков. Может, немного цикория там и было, но в целом ничего особенного, в основном просто старые салат-латук, редиска и морковь причудливых форм. Затем подали кусок трески — неплохой, должна признать, но очень маленький — с белым винным соусом, луком-шалотом и листочком мяты, что, по-моему, было совершенно лишним. На десерт предложили тонюсенький ломтик грушевого торта, зачем-то политый шоколадным соусом и посыпанный сахарной пудрой и шоколадной стружкой. Просматривая меню, я обратила внимание на то, сколько там всякой самодовольной чуши, например, «нугатин из разных сортов печенья на соблазнительной основе из тончайшего теста, украшенный шоколадной глазурью и пикантной подливой из абрикосов». Я-то думала, что мне принесут обычный пирог-флорентин, но этот «нугатин» оказался не больше пятифранковой монетки. А ведь так все было расписано, будто это угощение им сам Моисей с горы принес! А уж цена! В пять раз дороже самого дорогого из моих кушаний, и это еще без вина. Я-то, конечно, ни за что не платила. Однако мне сразу закралась в голову мысль о том, что за столь внезапное внимание со стороны Лоры и Янника мне еще придется расплачиваться.

Так оно и вышло.

Через два месяца поступило первое предложение. Я получу тысячу франков, если передам им свой рецепт *raella antillaise* и позволю вставить это блюдо в меню их ресторана. «Паэлья по-антильски от тетушки Фрамбуазы», упомянутая Жюлем Лемаршаном в июльском номере

«Hôte et Cuisine»¹ за 1991 год. Сперва я решила, что это шутка. «Нежнейшая смесь свежих даров моря, вкус которых оттеняют зеленые бананы, ананас, мускатель и рис, слегка приправленный шафраном». Прочитав это, я рассмеялась. Да что у них, собственных рецептов не хватает?

— Не смейтесь, тетушка, — произнес Янник почти сердито; его блестящие черные глаза были совсем близко и смотрели на меня в упор. — Мы с Лорой действительно были бы вам очень благодарны.

И он широко улыбнулся мне.

— Вы, тетушка, не смущайтесь. — Лучше б они так меня не называли! Лора обняла меня за плечи холодной голой рукой. — Уж я позабочусь, чтобы все знали: это ваш рецепт.

Они так просили, что я не выдержала. Собственно, я не против, чтоб и другие готовили по моим рецептам; в конце концов, с жителями Ле-Лавёз я уже много чем поделилась. Я бы и Лоре с Янником могла рассказать, как готовить эту «паэлью по-антильски», и подарить еще сколько угодно других рецептов, но при условии, что никаких «тетушек Фрамбуаз» они в меню упоминать не будут. Построив себе спасительную норку, я вовсе не имела намерения привлечь к ней чье-то ненужное внимание.

Они моментально согласились со всеми моими требованиями и почти даже не спорили; но через три недели в «Hôte et Cuisine» был опубликован рецепт «паэлы по-антильски от тетушки Фрамбуазы» в сопровождении восторженной статьи Лоры Дессанж. «Надеюсь, что вскоре смогу поведать вам и еще кое-какие чудесные рецепты сельской кухни, которыми обещала с нами поделиться тетушка Фрамбуаза, — писала она. — А пока вы можете попробовать наши блюда в “Деликатесах Дессанж”, улица Ромарен, Анже».

¹ «Хозяйка и кухня» (фр.).

Полагаю, им и в голову не пришло, что я могу эту статью прочесть. А может, просто решили, что я совсем не то имела в виду, когда велела им не упоминать о «тетушке Фрамбуазе», и, когда я ткнула им в нос эту статью, принялись извиняться, как дети, пойманные на очаровательной шалости. Моя паэлья уже пользовалась неслыханной популярностью, и теперь они мечтали включить в свое меню целый раздел кушаний «от тетушки Фрамбуазы», например, мои *couscous à la provençale, cassoulet trois haricots*¹ и, разумеется, «знаменитые блинчики тетушки Фрамбуазы».

— Понимаете, тетушка, — объяснял мне Янник с победоносной улыбкой, — самое главное — вам даже делать ничего не придется. Просто будьте собой, и все. Такой вот, естественной.

— А я могла бы вести колонку в нашем журнале, — прибавила Лора. — «Советы тетушки Фрамбуазы» или что-то в этом роде. Конечно же, вам, тетушка, ничего писать не потребуется. Я все сделаю сама.

И она лучезарно мне улыбнулась, точно запуганному ребенку, нуждавшемуся в поддержке.

Они снова притащили с собой Кассиса, который тоже лучезарно улыбался, хотя и был несколько смущен; мне показалось, что ему все-таки не по себе.

— Но ведь мы это уже обсуждали. — Я очень старалась держаться спокойно и твердо, чтобы голос ни в коем случае не дрогнул. — По-моему, я вполне ясно дала понять, что не желаю ни в чем таком участвовать. И никакой вашей помощи мне не надо.

Кассис был ошеломлен.

— Для моего сына это такая блестящая возможность, — промямлил он умоляюще. — Ты только представь себе, как полезна ему подобная публикация в журнале!

¹ Кускус по-провансальски, рагу из баранины в горшочке с тремя сортами фасоли (фр.).

Янник кашлянул и поспешно внес свои поправки:

— Папа просто имеет в виду, что это выгодно всем нам. Возможности тут поистине безграничны. Особенно если дело пойдет. Можно, например, выставить на рынок конфитюры и варенье тетушки Фрамбуазы, печенье тетушки Фрамбуазы. И конечно, вы, тетушка, получали бы с этого изрядный процент.

Покачав головой, я сказала несколько громче, чем прежде:

— Ты меня, кажется, плохо слушал или не слушал совсем. Повторяю: я не хочу никаких публикаций. Не хочу никаких процентов. Мне все это совершенно не нужно.

Янник и Лора переглянулись.

— И если вы думаете, а по-моему, вы именно так и думаете, — совсем уж резким тоном продолжала я, — что это можно сделать и без моего согласия, в конце концов, вам всего-то и нужны имя да фотография, то учтите: если я еще раз услышу, что в вашем или в любом другом журнале появился какой-нибудь «рецепт тетушки Фрамбуазы», я в тот же день позвоню издателю журнала и продам ему права на все кулинарные рецепты, какие только у меня есть. Да ладно, черт побери, я отдам их бесплатно!

Я задыхалась, сердце молотом стучало в груди, меня переполняли одновременно бешеный гнев и смертельный ужас. Нет уж, я никому не позволю шутки со мной шутить! И посадить в тюрьму дочь Мирабель Дартижан никому не удастся! Лора с Янником, видно, поняли, что я серьезно. Это сразу стало ясно по их физиономиям.

Они, правда, пытались возражать, хотя и довольно беспомощно:

— Но, тетушка...

— И прекратите называть меня тетушкой!

— Дайте-ка я поговорю с ней, — вмешался Кассис, с трудом поднявшись с кресла.

Я обратила внимание на то, как сильно он с годами одряхлел, съезжился, как-то весь осел, точно неудачное суфле. Судя по всему, самое незначительное усилие заставляло его морщиться от боли.

— Пойдем лучше в сад, Буаз, — предложил он.

Усевшись на ствол упавшего дерева возле заброшенного колодца, я испытала странное чувство раздвоенности: казалось, Кассису достаточно снять эту маску толстого старика, и он снова станет прежним — живым, беспечно смелым и немного диковатым.

— Почему ты так поступаешь, Буаз? — спросил он. — Это из-за меня?

Я медленно покачала головой:

— К тебе это не имеет ни малейшего отношения. И к Яннику тоже. — Я мотнула подбородком в сторону дома: — Ты хоть заметил, как я восстановила наш старый дом?

Он пожал плечами.

— Если честно, никогда не мог понять, зачем он тебе. Я бы тут ничего и пальцем не тронул. Просто мороз по коже, стоит подумать, что ты снова тут поселилась. — И он как-то странно на меня посмотрел — понимающе, остро. А потом с улыбкой произнес: — Впрочем, это как раз в твоём духе, Буаз, — поселиться в её доме. Ты ведь всегда была её любимицей. А теперь ты еще и так на нее похожа.

Тоже пожав плечами, я спокойно предупредила его:

— Ладно, ты мне зубы не заговаривай.

— Вот-вот, ты и ведешь себя теперь совсем как она. — И в его голосе послышалась сложная смесь любви, вины и ненависти. — Буаз...

Я посмотрела на него:

— Но ведь кто-то же должен ее помнить! Я никогда не сомневалась, что этим «кто-то» точно будешь не ты.

Он лишь беспомощно отмахнулся:

— Так ведь здесь-то, в Ле-Лавёз...

— Здесь никто и не догадывается, кто я такая, — прервала я брата. — И никто меня с теми событиями не связывает. — Я вдруг усмехнулась: — Знаешь, Кассис, для большинства людей все старухи на одно лицо.

Кассис кивнул и уточнил:

— И ты думаешь, «тетушка Framбуаза» все испортит?

— Я знаю это. Знаю, что так и будет.

Помолчав, он как ни в чем не бывало заметил:

— Что-что, а врать ты всегда здорово умела. Ты и эту особенность от нее унаследовала. Умение врать и прятаться. Вот я, например, весь нараспашку.

И он широко раскинул руки, словно желая это продемонстрировать.

— С чем тебя и поздравляю, — равнодушно откликнулась я: он ведь и сам в это верил.

— И готовить ты тоже отлично умеешь, это я при знаю. — Он посмотрел через мое плечо на деревья в нашем старом саду; ветви сгибались под тяжестью созревших плодов. — Матери это было бы приятно. Приятно узнать, что ты продолжила ее дело. Господи, как же все-таки ты на нее похожа! — медленно повторил он; в его голосе звучало не одобрение, а констатация факта, к которой примешивались легкая неприязнь, страх и одновременно восхищение.

— Она оставила мне свой дневник, — вдруг сообщила я. — Тот самый, с кулинарными рецептами. Свой альбом.

Его глаза расширились от изумления.

— Вот как? Ну что ж, ты была ее любимицей...

— Заладил одно и то же, — нетерпеливо прервала я его. — Если у матери и была любимица, так это Ренетт, а вовсе не я. Ты же помнишь...

— Она сама мне сказала, — пояснил Кассис. — Сказала, что из нас троих у тебя единственной есть голова на плечах, есть чутье. «В этой хитрой маленькой сучке куда больше моего, чем в вас обоих, в десять раз больше!» — это ее выражение.

Звучало и впрямь правдоподобно. Я словно слышала ясный, резкий голос матери, острый, как осколок стекла. Она, наверное, была в тот момент за что-то сердита на Кассиса и не сумела подавить очередной приступ свойственной ей ярости. Она крайне редко по-настоящему нас била, но словами могла огреть не хуже плетки!

Кассис поморщился.

— И потом, знаешь, она так это сказала, — тихо прибавил он, — таким ледяным тоном, так сухо! И смотрела на меня так странно, словно испытывала. Словно ждала, как яотреагирую.

— И как ты отреагировал?

Он пожал плечами:

— Заплакал, конечно. Мне ведь было тогда всего девять.

Ну конечно же, он заплакал! Еще бы! Это как раз в его духе. Он всегда был слишком чувствительным, несмотря на все свои хулиганские выходки и внешнюю диковатость. Он часто убегал из дома, ночевал где-то в лесу или в нашем шалаше на дереве, зная, что сечь его за это мать не будет. Она, кстати, втайне поощряла подобные поступки; наверное, они казались ей проявлением непокорного нрава и силы воли. А я, оказись тогда на месте Кассиса, попросту плюнула бы ей в лицо.

— Послушай, Кассис... — Эта мысль пришла в голову внезапно, у меня даже дыхание перехватило от волнения. — А мать... Ты не помнишь, она никогда не умела говорить по-итальянски? Или по-португальски? Она никаких иностранных языков не знала?

Брат был явно ошарашен моими вопросами и лишь молча покачал головой.

— Ты уверен? А в ее альбоме...

И я поведала ему о тех записях на странном, чужом языке, о тех тайных записях, которые я так и не сумела расшифровать.

— Дай-ка мне поглядеть.

Мы стали вместе перелистывать пожелтевшие страницы. Кассис с невольным восхищением касался негнушимся пальцем фотографий, засушенных цветов, крылышек бабочек, вклеенных в альбом кусочков ткани, однако я заметила, что самих записей он избегает касаться.

— Боже мой, — прошептал он. — Я ведь и понятия не имел, что она куда-то все записывает. — Он поднял на меня глаза. — И ты еще уверяешь, что не была ее любимицей!

Сперва его, казалось, больше всего заинтересовали именно кулинарные рецепты. Он водил пальцами по строчкам, и пальцы его словно обретали прежнюю ловкость.

— «Tarte mirabelle aux amandes»¹, — бормотал он. — «Tourteau fromage»². «Clafoutis aux cerises rouges»³. Это я помню! — воскликнул он вдруг с молодым энтузиазмом, совсем как прежний Кассис, и тихо прибавил: — Тут есть все. Все.

Я ткнула пальцем в одну из записей на чужом языке.

Минуту или две брат изучал ее, потом рассмеялся и сообщил:

— Никакой это не итальянский! Неужели ты не помнишь, что это такое? — Кажется, он всю забавлялся; раскачивался и даже попискивал от смеха; и уши у него тряслись, большие стариковские уши, напоминавшие опенки-перестарки. — Это же папа придумал такой язык! «Bilini-enverlini», «задом наперед» — так он называл его. Разве ты не помнишь? Он и сам постоянно им пользовался.

Я попыталась вспомнить. Мне было семь, когда он погиб. Должно же было что-то остаться в памяти! Но, увы, там осталось очень мало. Все исчезло в алчной темной глотке войны. Я помнила отца лишь частично, какими-то разроз-

¹ Сладкий пирог из мирабели с миндалем (фр.).

² Сырный хлеб (фр.).

³ Пирог с красной вишней (фр.).

ненными, странными фрагментами. Помнила, например, запах, исходивший от его старой куртки, запах табака и шариков от моли. Помнила, что он любил иерусалимские артишоки, и всем нам, хотя больше никто из нас эти артишоки не любил, приходилось раз в неделю их есть. Помнила, как однажды я случайно проткнула рыболовным крючком кожистую перепонку между указательным и большим пальцами, а он этот крючок вытаскивал; помнила его руки, обнимавшие меня, и его голос, убеждавший меня не бояться. Но его лицо я помнила только по фотографиям, расплывчатым и неясным. Где-то в глубине души таились кое-какие тайные воспоминания, не проглоченные, точнее, исторгнутые той темной безжалостной глоткой: отец, болтающий с нами на своем чепуховом языке и весело улыбающийся; смеющийся Кассис и я сама, тоже смеющаяся над какой-то не очень понятной мне шуткой; а матери в кои-то веки не видно, она где-то далеко, на безопасном расстоянии, и ничего не слышит, возможно, ее сразил один из приступов мигрени, подаривший нам этот неожиданный праздник.

— Так, кое-что помню, — наконец произнесла я.

И тогда брат принялся терпеливо объяснять. Этот язык состоит из перевернутых слогов, из задом наперед написанных слов, к которым приделываются дурацкие, ничего не значащие суффиксы и префиксы. *Ini tñawini inoti plainexini* — I want to explain (Я хочу объяснить). *Minini toni nierus niohwni inoti* — I'm not sure who to (Но не уверена кому).

Вообще странно, но Кассиса, кажется, ничуть не интересовали эти загадочные записи. Он по-прежнему пожирал глазами материны кулинарные рецепты. Остальное для него не существовало. А вот рецепты он мог понять, мог попробовать, мог вспомнить вкус знакомых блюд. Я прямо-таки чувствовала: ему не по себе оттого, что я так близко, словно мое сходство с матерью заразно и может передаться ему.

— Ах, если б мой сын мог хоть одним глазком взглянуть на эти рецепты, — тихо промолвил он.

— Не вздумай ему сказать! — резким тоном осадила я.

Мне уже было понятно: чем меньше Янник будет знать о нашем прошлом, тем лучше.

Кассис пожал плечами:

— Конечно, конечно. Я ничего ему не скажу. Обещаю.

И я поверила, чем и доказала, что вовсе не настолько похожа на мать, как он считает. Господи, я же ему поверила! И какое-то время мне казалось, что он и впрямь свое обещание сдержит. Да и Янник с Лорой соблюдали дистанцию и о «тетушке Фрамбуазе» даже не вспоминали.

Лето плавно перекаатилось в осень, таща за собой мягкий шлейф опавших листьев.

6

«Янник говорит, что видел сегодня Старую щуку», — пишет мать об отце.

«Прибежал с реки, сам себя не помнит от волнения, бормочет что-то. Даже рыбу забыл на берегу, так спешил, и я окрысилась на него, чего, мол, время зря теряешь. А он посмотрел на меня беспомощно и печально и словно собирался что-то ответить. Но промолчал. Может, ему стыдно было, что он рыбу забыл. У меня внутри все словно закаменело, застыло. Хочу ему сказать что-нибудь, да не знаю что. Дурной это знак — увидеть Старую щуку, так все говорят, только мы и без того дурных знаков видели больше, чем нужно. Может, потому я теперь и стала такой?»

Материн альбом я читала медленно. Отчасти из опасений, что нечаянно узнаю нечто, совсем для меня нежелательное, и буду вынуждена навсегда это запомнить. А отчасти из-за того, что повествование само по себе оказалось

на редкость запутанным: порядок событий был сознательно и искусно изменен — так путают карты, показывая какой-нибудь хитроумный фокус. Например, я с трудом сумела вспомнить тот день, что описан выше, хотя потом не раз о нем думала. И почерк у матери был хоть и очень аккуратный, но невыносимо мелкий; если я слишком долго вглядывалась в ее бисерные буквы, у меня даже виски начинало ломить. В этом я тоже как мать; я хорошо помню, как мучили ее головные боли, и, по заверениям Кассиса, перед этими приступами у нее часто кружилась голова. Он рассказал мне, что приступы мигрени у нее особенно усилились после моего рождения. Он вообще был единственным из нас, детей, кто еще хранил в памяти образ матери, какой она была раньше.

Под рецептом подогретого сидра с пряностями она пишет:

«Я еще помню, каково это — когда у тебя светлая голова. Когда чувствуешь себя целой. Так было, пока не родился К. И теперь я все пытаюсь вспомнить, каково это — быть совсем молодой. И все про себя повторяю: лучше б мы жили в другом месте. И никогда в Ле-Лавёз не возвращались. Я. старается помочь. Но любви больше нет. Он теперь меня скорее боится; боится того, что я могу сотворить. С ним. С детьми. Никакой сладости в страданиях нет, что бы там люди ни думали. В конце концов, страдания пожирают все. Я. и в семье-то остается только ради детей. Мне следует быть ему благодарной. Он мог бы запросто уйти, и никто бы его не осудил. В конце концов, он ведь здесь родился».

Никогда и никого она в свои страдания не посвящала; она терпела боль до тех пор, пока могла, а потом надолго исчезала в своей темной комнате с задернутыми шторами, а мы ходили по дому на цыпочках, точно осторожные кош-

ки, и говорили шепотом. Примерно раз в полгода у матери случался действительно серьезный приступ, после которого она на несколько дней как бы впадала в прострацию. Однажды — я тогда была еще совсем маленькой — она упала, когда шла с ведром от колодца к дому; мне показалось, что она споткнулась; она перелетела через ведро и упала; вода разлилась и потекла по сухой тропинке. Соломенная шляпа матери съехала набок, и мне стал виден ее страшный разинутый рот и выпученные глаза. Я была в огороде одна, рвала зелень к обеду, и как-то сразу подумала, что мать умерла — так страшно она молчала, таким страшным был черный провал ее рта на изжелта-бледном, словно обтянутом кожей, худом лице, такими жуткими были остановившиеся глаза, похожие на шарикоподшипники. Я очень медленно опустила на землю корзинку и пошла к ней.

Тропинка как-то странно расплывалась у меня под ногами, словно я напялила чьи-то чужие очки, и я даже немного спотыкалась. Мать лежала на боку. Одна нога в стоптанном башмаке отброшена в сторону; темная юбка задралась так, что видна верхняя часть чулка; рот жадно разинут, точно она просит есть. Но страшно мне не было, наоборот, я испытывала какое-то странное спокойствие.

«Она умерла», — решила я, и от этой мысли меня вдруг охватила такая сильная буря эмоций, что на мгновение я словно оглохла и ослепла. Ощущение было ярким, как хвост пролетевшей кометы, от него покалывало под мышками и в животе что-то вздувалось, как подходившее тесто. Ужас, горе, смятение — тщетно искала я в себе эти чувства, их там не было и в помине. Зато голова наполнилась светом, словно после взрыва какой-то ядовитой шутихи. Я тупо смотрела на труп матери, и душа моя полнилась облегчением, надеждой и безобразной, какой-то дикарской радостью...

Ах, эта сладость...

... Все у меня внутри словно закаменело, застыло...

Знаю, знаю. Собственно, не стоило и надеяться, что вы поймете мои тогдашние чувства. Мне и самой они представляются поистине чудовищными, когда я вспоминаю, как это было, и пытаюсь разобраться, уж не привиделось ли все это. Разумеется, подобное состояние вполне объяснимо последствием испытанного шока. С людьми в состоянии шока происходят порой весьма странные вещи. Даже с детьми. С детьми особенно. Тем более с такими замкнутыми и диковатыми, какими были мы, обитавшие в собственном безумном мире, с нашим Наблюдательным постом, нашей рекой и нашими Стоячими камнями, надежными стражами наших тайных ритуалов. И все-таки, как ни крути, а испытывала я именно радость.

Я стояла возле матери; ее мертвые глаза не мигая смотрели на меня, а я все размышляла, надо ли их закрыть. Было что-то тревожащее в этих глазах, ставших круглыми и бессмысленными, как у рыбы. Они походили на глаза Старой щуки, когда я ее наконец поймала и пригвоздила к Скале сокровищ. Из уголка рта у матери стекала, поблескивая, нитка слюны. Я придвинулась чуть ближе.

И вдруг она стремительно выбросила руку и схватила меня за лодыжку. Нет-нет, она, оказывается, не умерла, она чего-то ждет, и глаза ее горят злобно и вполне осмысленно! Губы ее шевельнулись, и она мучительно четко прокричала, точно ножом по стеклу:

— Слушай. Принеси мою палку. — Я даже зажмурилась, чтобы не завопить от страха. — Принеси ее. Из кухни. Быстро.

Но я продолжала стоять, неотрывно на нее глядя; а ее рука по-прежнему сжимала мою лодыжку.

— С утра чувствовала, что голова начинает раскалываться, — бесцветным голосом пожаловалась она. — И уже понимала: не миновать сильного приступа. На часы гля-

ну — только полциферблата вижу. И апельсинами пахло. Принеси палку. Помоги мне.

— Я думала, ты умираешь. — Мне вдруг показалось, что наши с ней голоса до странности похожи: одинаково скрипучие и твердые, как металл. — Я думала, ты уже умерла.

Уголок ее рта дрогнул, и она издала какое-то тихое карканье или задушенный хрип, в общем, в этих звуках я не сразу распознала смех. Я бегом бросилась на кухню, но это жуткое карканье по-прежнему звучало у меня в ушах. Я нашла ее палку — собственно, это была довольно толстая ветка боярышника, немного кривоватая, чаще всего мать притягивала ею к себе верхние ветки фруктовых деревьев — и принесла ей. Мать уже поднялась и стояла на коленях, с силой опираясь о землю руками и время от времени резко и нетерпеливо встряхивая головой, словно ее изводили осы.

— Хорошо, — глухим, вязким голосом произнесла она, будто рот у нее был полон глины. — А теперь иди. Скажи отцу. Я... к себе... пойду... — Каким-то безумным усилием она заставила себя подняться и стоять прямо, тяжело опираясь на палку; ее шатало, но голос звучал резко, как прежде: — Я же сказала: убирайся!

И она ударила меня, неуклюже шлепнула вялой ладонью с дрожащими скрюченными пальцами, чуть не потеряв при этом равновесие и удержавшись лишь с помощью палки. Я кинулась прочь и обернулась, лишь оказавшись достаточно далеко от нее и на всякий случай присев за кустом красной смородины. Мать уже ковыляла к дому, с трудом волоча ноги и оставляя после себя на мокрой дорожке странные, неровные петли следов.

В тот раз я впервые по-настоящему поняла, какая беда постигла мать. Позже отец, пока она отлеживалась в темной комнате, объяснил нам кое-что насчет часов и апельсинов. Правда, из его слов мы мало что поняли. Оказывается, у матери бывают ужасные приступы некой болезни, когда очень сильно болит голова, и она сама порой не по-

нимает, что делает. «Был ли у кого-нибудь из вас солнечный удар? — спросил отец. — Если был, то вы, наверное, помните, как при этом сильно кружится голова, каким странным кажется все вокруг, словно предметы сами надвигаются на тебя, а звуки вдруг становятся оглушительно громкими». Мы недоуменно уставились на отца. Кажется, только Кассис, которому тогда было уже девять (а мне всего четыре!), что-то понимал из его объяснений.

— Вот она в таком состоянии что-нибудь сделает, — говорил отец, — а потом и вспомнить не может, действительно ли сделала это. Такие это ужасные приступы!

Мы в страхе смотрели на него. Ужасные приступы!

Мой детский разум воспринимал эти слова как сказку о ведьмах. О пряничном домике. О семи лебедях. Я представляла себе, как мать лежит в темноте на постели, ее глаза открыты, а с губ срываются странные звуки, похожие на вертких угрей. И мне казалось, что она видит даже сквозь стену — видит не только меня, но и мои внутренности, — и смеется этим своим жутким, каркающим смехом, и трясется всем телом. Порой во время ее ужасных приступов отец так и ночевал на кухне, спал, сидя на стуле. А однажды утром мы встали и увидели, что он там, прямо в раковине, моет голову и вода вся красная от крови. Отец тут же стал оправдываться, что это случайно получилось. Просто глупая случайность. Но я хорошо помню блестящие пятна крови на чистых терракотовых плитках пола. А еще на столе почему-то лежало полено для печки. И на нем тоже была кровь.

— Пап, а мама не побьет нас?

Некоторое время он смотрел на меня. Секунду, может, две. Колебался. По глазам было видно: прикидывает, много ли можно сказать ребенку.

Потом улыбнулся. «Ну что за нелепый вопрос!» — читалось в его улыбке.

— Конечно нет, детка. Вас она никогда и пальцем не тронет.

И он обнял меня, прижал к себе; я почувствовала аромат табака и шариков от моли и сладковатый запах застарелого пота. Но я навсегда запомнила то его мгновенное замешательство, сомнение, смущенный, оценивающий взгляд. Ведь он тогда явно подумал: «А может, все-таки им признаться?» Но потом, видно, решил, что мы пока маловаты, что времени впереди полно и он еще успеет все хорошенько объяснить нам, когда мы станем постарше.

А поздно ночью я услышала шум в родительской спальне, крики, звон бьющегося стекла. Утром я встала очень рано и обнаружила, что отец снова всю ночь провел на кухне. Мать с постели поднялась поздно, зато какая-то очень веселая — по своим меркам, разумеется, — и все что-то тихо напевала себе под нос, помешивая зеленые помидоры в медном тазике для варки варенья, а мне сунула пригоршню желтых слив, достав их из кармана фартука. Я застенчиво поинтересовалась, не стало ли ей получше, и она лишь непонимающе на меня взглянула. Ее лицо показалось мне совершенно пустым и белым, как чистая тарелка. Позже я украдкой пробралась в ее комнату и обнаружила там отца, который клеивал вошеной бумагой разбитое оконное стекло. На полу валялись осколки и циферблат каминных часов, уткнувшийся стрелками в доски пола. Над изголовьем кровати кое-где виднелись подсохшие красноватые мазки; я прямо-таки с восхищением разглядывала отчетливые отпечатки пяти пальцев, похожие на пять запятых, там, где мать оперлась рукой о стену, и округлое пятно, оставшееся от ее ладони. Но уже через пару часов, когда я снова заглянула туда, стены были дочиستا оттерты и комната опять выглядела вполне опрятной. Никто из родителей ни словом не обмолвился о ночном происшествии; оба вели себя так, будто и не случилось ничего из ряда вон выходящего. Но с тех пор отец стал всегда запирает на ночь двери нашей спальни, а окна закрывал на задвижку, словно боялся, что к нам кто-то вломится.

Когда отец погиб, я, положила руку на сердце, не особенно горевала. Честно пыталась отыскать в своей душе хоть немного сожалений, но лишь постоянно натыкалась на какую-то твердую сердцевинку вроде вишневой или сливовой косточки. Я повторяла себе, что никогда больше не увижу его лица, но и это меня не пугало: к тому времени я уже и так почти забыла его лицо. Да и сам он превратился для меня в нечто вроде иконы, в неодушевленную пластмассовую фигурку святого с выпученными глазами и светящимися медными пуговицами на кителе. Я пыталась представить себе отца на поле боя — как он лежит, мертвый, весь израненный осколками мины, взорвавшейся у него под ногами. В общем, всякие ужасы, но даже эти ужасы казались мне какими-то ненастоящими, точно сны. Кассис переживал гибель отца куда сильнее. Когда мы получили похоронку, он сбежал из дома и не появлялся целых два дня; потом все-таки вернулся, совершенно измученный, страшно голодный и весь распухший от укусов комаров. Он ночевал под открытым небом на том берегу Луары, где леса сменяются болотами, и, как мне кажется, пытался воплотить в жизнь безумную идею пойти на фронт, как и отец. Но у него ничего не получилось: он попросту заблудился в лесу и не один час бродил по кругу, пока снова не вышел к Луаре. Он, конечно, делал вид, что ничего особенного не случилось, рассказывал о каких-то немыслимых приключениях в лесу, но я в кои-то веки ни одному его слову не поверила.

После этого Кассис стал постоянно драться с мальчишками и часто приходил домой в разорванной одежде и с кровью под ногтями. Или часами один гулял по лесу. Но никогда не плакал и очень этим гордился; а как-то раз, когда Филипп Уриа попытался его утешить, весьма грубо

его отшил. А вот Ренетт, судя по всему, была даже довольна тем вниманием, которое ей стали уделять в деревне после гибели отца. Люди приносили ей подарочки или гладили по головке, случайно встретив на улице. В местном кафе наше будущее — и особенно будущее нашей матери — постоянно обсуждали тихими, проникновенными голосами. Моя сестра научилась по собственному желанию пускать слезу или, напротив, изображать «храбрую», сиротскую улыбку — и моментально обретала всеобщее сочувствие и разные сласти в подарок; кроме того, она заработала репутацию самой тонкой натуры в нашем семействе.

После смерти отца мать никогда больше о нем не упоминала. Порой возникало ощущение, будто он и не жил вместе с нами. Ферма прекрасно обходилась без него; пожалуй, дела на ней шли даже лучше, чем прежде. Мы, например, выкопали на огороде весь топинамбур, который никто в семье, кроме него, не любил, и посадили на этих грядках спаржу и красную брокколи, листья которой покачивались и что-то шептали на ветру. В то время мне вдруг стали сниться страшные сны: то я оказывалась под землей и лежала там, разлагаясь и чувствуя жуткий запах собственного разложения, то тонула в Луаре и придонный ил обволакивал мою безжизненную плоть. А если я была еще жива и, протягивая руки, молила о помощи, то на меня наваливались сотни тел других утопленников, которые, мягко покачиваясь в текучей воде, лежали на дне плотным слоем, плечом к плечу. Некоторые из них были еще целые, а некоторые уже успели разложиться, и у них не было то всего лица, то нижней челюсти, они жутко «улыбались» зияющим провалом на месте рта и выпучивали мертвые глаза в нарочито радостном приветствии. После таких снов я просыпалась с криком, вся мокрая от пота и слез, но мать ни разу ко мне даже не приблизилась. Вместо нее подходили Кассис и Ренетт, проявляя то нетерпение, то бесконеч-

ную доброту. Они или щипали меня, что-то сердито шипя, или брали на руки и укачивали, пока я снова не засыпала. Иногда Кассис рассказывал нам всякие истории. Мы с Рен-Клод с наслаждением слушали, не сводя с него глаз, в окно лился лунный свет, а брат все говорил и говорил. Чаще всего о великанах, о ведьмах, о розах-людоедах, о горах и о драконах, которые умели принимать человеческое обличье. О, наш Кассис был тогда отличным рассказчиком! И хотя со мной он порой бывал не слишком-то любезен, а часто попросту смеялся над моими ночными кошмарами, но никакой обиды в моей душе не осталось; зато его ночные повествования и его сияющие глаза я теперь часто и с благодарностью вспоминаю.

8

После того как отца не стало, мы постепенно и сами научились распознавать приближение материных ужасных приступов. В таких случаях ее речь всегда становилась невнятной, неуверенной, и она то и дело нетерпеливо встряхивала головой — видно, у нее уже начинало ломить виски. Движения у нее тоже становились неуверенными, бывало, потянется за ложкой или за ножом и промахнется, а потом шлепает рукой по столу или по краю раковины, словно пытаясь на ощупь отыскать нужный предмет. Или вдруг спросит: «Который час?», хотя большие круглые кухонные часы висят точно напротив нее. И в такие дни она всегда задавала один и тот же вопрос резким, подозрительным тоном: «Опять кто-то из вас апельсины в дом притащил?»

Мы молча мотали головой. Апельсины были для нас деликатесом, нам лишь изредка доводилось их отведать. На рынке в Анже мы их, конечно, видели: толстые испанские апельсины с плотной ноздреватой шкуркой или привезенные с юга корольки, более тонкокожие и нежные, ко-

торые торговцы разрезали пополам, чтобы видна была их сочная, красно-лиловая мякоть. Наша мать всегда шарахалась от этих прилавков, словно ее тошнило от одного вида апельсинов. Однажды какая-то симпатичная женщина на рынке подарила нам апельсин, один на всех, так мать потом запретила нам входить в дом, пока мы с ног до головы не вымылись, не выскребли щеткой все из-под ногтей и не протерли руки мазью с лимонным соком и лавандой. И даже после этого она утверждала, что от нас еще пахнет апельсином, и целых два дня держала все окна открытыми, чтобы запах окончательно выветрился. Разумеется, апельсины, вызывавшие ее ужасные приступы, были из области фантазий. Этот несуществующий запах вызывал начало ее мигрени; стоило ей упомянуть, что в «доме снова пахнет апельсинами», и уже через несколько часов она запиралась в темной спальне, прикрыв лицо носовым платком, смоченным лавандовым уксусом, и положив рядом таблетки от головной боли. Таблетки эти, как я узнала впоследствии, были морфием.

Она никогда ничего не объясняла. Все знания о ее болезни мы приобрели благодаря собственным наблюдениям и умозаключениям. Чувствуя приближение мигрени, мать просто удалялась к себе, ни словом не обмолвившись и предоставляя нас самим себе. В итоге мы, естественно, стали рассматривать ее приступы как своего рода каникулы, как передышку протяженностью от двух часов до двух дней и старались использовать их на полную катушку. Эти день-два были для нас поистине счастливыми, помнится, я мечтала, чтобы они никогда не кончались. Мы сколько угодно купались в Луаре, ловили раков на мелководье, совершали долгие походы в лес, до тошноты объедались вишнями, или сливами, или зеленым крыжовником, дрались и стреляли друг в друга из рогатки мелкой картош-

кой, украшали Стоячие камни трофеями, добытыми в своих разнообразных приключениях.

Стоячими камнями мы называли останки старой пристани, давным-давно снесенной быстрым течением. Пять каменных столбов, один чуть короче остальных, торчали довольно высоко над водой; сбоку на каждом была металлическая скоба, ронявшая слезы ржавчины на крошащиеся камни мола, поверх которых некогда крепились доски настила. Именно к этим скобам мы и привешивали трофеи: варварские гирлянды из рыбьих голов и цветов, записки, написанные тайным шифром, всякие «волшебные» камешки и фигурки из плавника. Последний столб находился довольно далеко от берега на глубоком месте, и течение там было особенно сильным; под этим-то столбом мы и прятали свои сокровища, сложенные в самую обыкновенную жестянку, завернутую в промасленную тряпку и подвешенную на обрывке цепи. Цепь, в свою очередь, была привязана к веревке, а та — к скобе. Этот столб мы гордо именовали Скалой сокровищ. Чтобы достать само сокровище, надо было сперва доплыть до столба, что само по себе требовало особого мастерства, а затем, одной рукой держась за скобу, вытянуть из-под воды металлическую коробку, отцепить ее и вместе с ней доплыть до берега. Считалось, что на такой подвиг способен только Кассис. В «сокровищнице» хранились такие вещи, которые ни один взрослый, разумеется, не считал бы сколько-нибудь ценными. Набор рогаток, жевательная резинка, для пущей сохранности завернутая в промасленную бумагу, палочка ячменного сахара, три сигареты, несколько монет в потрепанном кошельке, фотографии актрис — фотографии, как и сигареты, были собственностью Кассиса — и несколько номеров иллюстрированного журнала, в котором публиковались разные «жуткие» истории о преступлениях и убийствах.

Иногда в добыче подобных сокровищ — Касс называл это охотой — участвовал и Поль Уриа, но до конца мы не посвящали его в свои тайны, хотя лично мне Поль нравился. Его отец торговал наживкой и рыболовными принадлежностями возле шоссе, ведущего в Анже, а мать, чтобы свести концы с концами, брала на дом всякую починку. Поль был единственным ребенком в семье, и родители его были уже немолоды, он вполне годился им во внуки. Большую часть времени он попросту старался не попадаться им на глаза и жил так, как страстно хотелось бы жить мне. Летом он даже ночевал в лесу, и у его родителей это не вызывало ни малейшего беспокойства. Никто лучше Поля не умел искать грибы или делать из ивовых веточек свистульки. Руки у него вообще были на редкость ловкие и умелые, но сам он порой казался неуклюжим и говорил очень медленно, сильно заикаясь. Особенно сильно он начинал заикаться, если поблизости оказывались взрослые. Он был почти ровесником Кассиса, но в школу не ходил; вместо школы он помогал на ферме своему дяде — доил коров, отводил их на пастбище и пригонял обратно. Со мной Поль обращался очень ласково и куда более терпеливо, чем Кассис; он никогда не смеялся, если я чего-то не знала, и не презирал меня за то, что я еще маленькая. Теперь-то, конечно, он уже старик, но порой мне кажется, что из нас четверых меньше всех постарел именно Поль.

Часть вторая

ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД

1

Это случилось в начале июня. Лето обещало быть жарким, воды в Луаре уже было маловато, а ее быстрое течение намыло множество отмелей с зыбучими песками. И змей в тот год расплодилось больше, чем обычно; плоскоголовые коричневые гадюки прятались в прохладном иле на мелководье, и одна такая тварь укусила Жаннетт Годен, жарким полднем шлепавшую как ни в чем не бывало по бережку. А неделю спустя Жаннетт похоронили во дворе церкви Святого Бенедикта и поставили на могилке небольшой крест и статую ангела. Надпись на постаменте гласила: «Возлюбленной дочери... 1934–1942». Я была всего на три месяца ее старше.

Мне вдруг стало казаться, что прямо у меня под ногами разверзлась бездна, бездонная пропасть, словно гигантская пасть, пышущая жаром. Ведь если Жаннетт умерла, значит, могу и я? Значит, может и кто угодно? Кассис относился к моим переживаниям свысока, ему было уже тринадцать, и он, умудренный опытом, с легким презрением пояснял: «Глупая, в военное время всегда умирает мно-

го людей. И взрослых, и детей. Да и во все времена люди умирают».

Я попыталась объяснить ему свои чувства и обнаружила, что у меня ничего не выходит. «Одно дело, — думала я, — когда во время войны погибают солдаты, пусть даже и мой родной отец, пусть даже и мирные жители во время бомбежек, хотя в Ле-Лавёз мы бомбежек почти не знали. Но гибель Жаннетт — это совсем другое». Мои ночные кошмары стали еще ужаснее. А днем я часами следила за рекой, держа наготове рыболовный сачок. Я то и дело вылавливала на мелководье проклятых коричневых гадюк, камнем разбивала мудрые плоские змеиные головы, а тела нанизывала на древесные корни, обнажившиеся и торчавшие из прибрежных осыпей. Через неделю вдоль берега уже висело штук двадцать змеиных тушек, испускавших омерзительную вонь, отчасти рыбную, а отчасти противно сладковатую, точно блевотина. У Кассиса и Ренетт еще не закончился учебный год — они оба учились в college в Анже, — так что в тот день на берегу ко мне мог присоединиться только Поль. Нос я зажала прищепкой для белья, чтобы не так сильно ощущать вонь, и бродила вдоль берега, тщательно перемешивая сачком воду, похожую на суп из глины.

Поль был в шортах и сандалиях; за ним на плетеном веревочном поводке тащился верный пес Малабар.

Равнодушно взглянув в их сторону, я снова уставилась на воду. Поль сел неподалеку, Малабар, тяжело дыша, плюхнулся с ним рядом. Я продолжала заниматься ловлей змей, не обращая на них никакого внимания.

— Ч-что случилось? — наконец спросил Поль.

— Ничего, — пожала я плечами. — Ловлю вот.

Он помолчал и уточнил почти равнодушно:

— З-змей ловишь?

Кивнув, я с некоторым вызовом бросила:

— Да, а что?

— А ничего. — Он погладил Малабара по голове. — Лови себе на здоровье.

И снова умолк; молчание проползло между нами, как липкая улитка; я не выдержала и первой подала голос:

— А вот интересно: очень ей было больно?

Поль задумался, и мне показалось, что он сразу понял, кого я имею в виду. Покачав головой, он уклончиво промямлил:

— Не знаю...

— Я слышала, что, когда яд проникает в кровь, у человека все постепенно немеет. И он вроде как начинает засыпать.

Поль опять уклонился от прямого ответа. Он еще помолчал, не соглашаясь со мной, но и не споря, потом произнес:

— К-кассис с-считает, что Жаннетт Годен наверняка увидела Старую щуку. Вот та ее и прокляла. Ну, сама знаешь... Потому ее з-змея и ук-кусила.

Я недоверчиво мотнула головой. Кассис обожал рассказывать подобные страшные истории, начитавшись своих любимых приключенческих журналов, где печатались повести с броскими названиями: «Проклятие мумии» или «Стая варваров».

— По-моему, вообще никакой Старой щуки здесь нет, — презрительно заявила я. — Во всяком случае, я никогда ее не видела. А такой вещи, как проклятие, на свете и вовсе не существует. Это всем известно.

Поль посмотрел на меня, печально, но все же с некоторым возмущением, и возразил:

— Конечно же, они существуют! И проклятия, и Старая щука. Она-то совершенно точно живет у нас в реке, м-мой п-папаша сам ее однажды видел. Еще до моего рождения. Эт-то с-самая б-большая щука на с-свете! Ты даже представить себе не можешь, какая она здоровенная! Мой отец увидел ее, а через неделю свалился с велосипеда и с-сломал ногу. Да и твой отец тоже ее...